

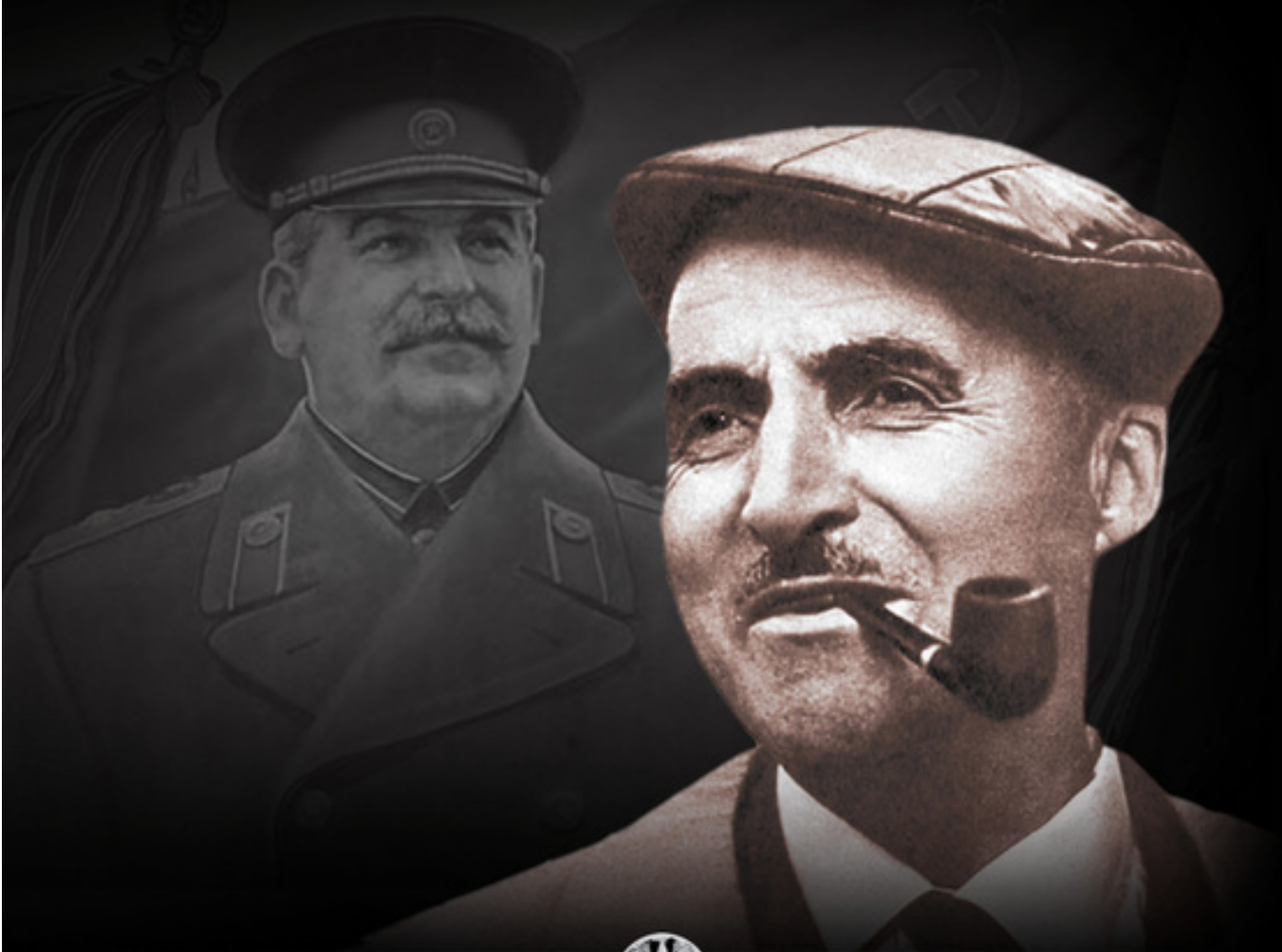


РЯДОМ СО СТАЛИНЫМ



К.М. СИМОНОВ

РАЗМЫШЛЕНИЯ О СТАЛИНЕ



Рядом со Сталиным

Константин Симонов

**Размышления о Сталине**

«Алисторус»

1988

**Симонов К. М.**

Размышления о Сталине / К. М. Симонов — «Алисторус»,  
1988 — (Рядом со Сталиным)

ISBN 978-5-4438-0789-8

Константин Михайлович Симонов – советский писатель, поэт, общественный деятель, – был лауреатом шести Сталинских премий. Сталин высоко ценил его; Симонов много раз встречался и беседовал с вождем. В своих воспоминаниях Константин Симонов рассказывает о встречах с И.В. Сталиным, об обстановке того времени. Автор оценивает Сталина как руководителя, пишет о его непростой личности; особое место отводится роли Сталина в Великой Отечественной войне. «Правда о Сталине – это правда сложная, в ней много сторон, и ее в двух словах не скажешь. Ее и надо писать и объяснять как сложную правду, только тогда она будет подлинной правдой», – считает К. Симонов.

ISBN 978-5-4438-0789-8

© Симонов К. М., 1988

© Алисторус, 1988

## Содержание

Вступление	5
Перед войной. Отношение к Сталину. Пакт Молотова – Риббентропа	7
Война. Причины неудач в первый период. Сталин как полководец.	14
Жуков о Сталине	
Конец ознакомительного фрагмента.	18

# Константин Симонов

## Размышления о Сталине

### Вступление

Прежде всего, следует сказать, что рукопись, к работе над которой я сегодня приступаю, в ее полном виде не предназначается мною для печати, во всяком случае, в ближайшем обозримом будущем. В полном виде я намерен сдать ее на государственное архивное хранение с долей надежды на то, что и такого рода частные свидетельства и размышления одного из людей моего поколения смогут когда-нибудь представить известный интерес для будущих историков нашего времени. Что же касается тех или иных частей этой будущей рукописи, то я заранее не исключаю того, что у меня могут появиться и желание, и возможность самому успеть увидеть их опубликованными.

Минуло четверть века со дня смерти Сталина, а между тем мне трудно вспомнить за все эти теперь уже почти двадцать шесть лет сколько-нибудь длительный отрезок времени, когда проблема оценки личности и деятельности Сталина, его места в истории страны и в психологии нескольких людских поколений так или иначе не занимала бы меня – или непосредственно, впрямую, в ходе собственной литературной работы, или косвенно в переписке с читателями, в разговорах с самыми разными людьми на самые разные темы, не так, так эдак приводивших нас к упоминаниям Сталина и к спорам о нем.

Из сказанного следует, что Сталин – личность такого масштаба, от которой просто-напросто невозможно избавиться никакими фигурами умолчания – ни в истории нашего общества, ни в воспоминаниях о собственной своей жизни, которая пусть бесконечно малая, но все-таки частица жизни этого общества.

Я буду писать о Сталине как человек своего поколения. Поколения людей, которым к тому времени, когда Сталин на XVI съезде партии ясно и непоколебимо определился для любого из нас как первое лицо в стране, в партии и в мировом коммунистическом движении, было пятнадцать лет; когда Сталин умер, нам было тридцать восемь. В этом году, когда ему было бы сто, нам станет шестьдесят четыре.

Говоря о своем поколении, я говорю о людях, доживших до этих шестидесяти четырех лет: репрессии тридцать шестого – тридцать восьмого годов сделали в нашем поколении намного меньше необратимых вычерков из жизни, чем в поколениях, предшествовавших нам; зато война вычеркивала нас через одного, если не еще чаще.

Поэтому оговорка первая: говоря как человек своего поколения, я имею в виду ту меньшую часть его, которая пережила Сталина, и не могу иметь в виду ту большую часть своего поколения, которая и выросла и погибла при Сталине: погибла если и не с его именем на устах, как это часто говорится в читательских письмах, которые я получаю, то, во всяком случае, в подавляющем большинстве с однозначной и некритической оценкой его действий, какими бы они ни были. И многое из того, о чем мне предстоит писать, они бы с порога не приняли – и за год, и за день, и за час до своей смерти.

Оговорка вторая: в своем поколении 1915 года рождения я принадлежу к очень неширокому, а точнее, наверное, даже к весьма узкому кругу людей, которых обстоятельства их служебной и общественной деятельности несколько раз довольно близко сводили со Сталиным. Я с двумя своими ныне покойными товарищами по работе на протяжении нескольких часов был на приеме у Сталина в связи с делами Союза писателей; один раз говорил с ним по телефону по вопросу, касавшемуся лично моей литературной работы; несколько раз присутствовал на заседаниях Политбюро, посвященных присуждению Сталинских премий и продолжавшихся

каждый раз несколько часов. В этих обсуждениях участвовали и писатели, в том числе и я. Я слышал не только последнее выступление Сталина на XIX съезде партии, но и его, очевидно, самое последнее выступление на пленуме ЦК после этого съезда. Довелось мне потом много часов провести в Колонном зале, близко видя и мертвого Сталина в гробу, и людей, проходивших мимо этого гроба. В результате этого у меня отчасти были записаны, отчасти остались в памяти некоторые непосредственные впечатления, игравшие и продолжающие играть свою роль в моем восприятии личности и деятельности этого человека.

Оговорка третья. Как журналист и литератор, на протяжении сорока лет, неизменно, почти без исключений работавший над темой войны, прежде всего Великой Отечественной, я по ходу своей работы постоянно соприкасался с теми или иными сторонами вопроса о роли Сталина в Великой Отечественной войне, о причинах наших поражений и источниках наших побед, о мере внезапности войны и о мере нашей готовности или неготовности к ней.

Работа над трилогией «Живые и мертвые», а затем над комментариями к моим дневникам военных лет подвела меня к теме: Сталин и война – в упор, вплотную. Я не считал себя вправе писать во втором романе трилогии «Солдатами не рождаются» глав, связанных с прямым появлением Сталина, без того, чтобы составить себе возможно более ясное представление и о восприятии Сталина, и об отношении к нему – прежде всего именно как к человеку, до войны занимавшемуся военными вопросами, а в ходе войны ставшему Верховным главнокомандующим, – со стороны людей, сведущих в военном деле, знающих, чем была Великая Отечественная война, игравших в ней видную роль и в силу этого неоднократно или многократно имевших дело со Сталиным.

В течение нескольких лет работы над романом «Солдатами не рождаются» я разговаривал на эти темы со сведущими военными людьми, записывал после этих разговоров их воспоминания, их высказывания, а также в дополнение к этому иногда и собственные, возникавшие у меня соображения, – разумеется, четко отделяя одно от другого. Я продолжал заниматься этим и в дальнейшем, уже закончив роман «Солдатами не рождаются» и работая на протяжении десяти лет с некоторыми перерывами над комментариями к своим дневникам «Разные дни войны». И многие причины, и многие следствия происходивших в годы войны событий были связаны с личностью Сталина, с характером его руководства войною. Для того чтобы прийти к собственным выводам по целому ряду вопросов, которые я затрагивал в комментариях к дневникам, мне было необходимо, насколько я только мог, широко познакомиться с теми мнениями, которые сложились по этим вопросам у военных людей. Это были, разумеется, люди разных поколений, что я считаю необходимым оговорить, но выводы из всего услышанного и сопоставленного делаю я сам, человек своего поколения, само собой разумеется, всецело берущий собственные выводы на собственную ответственность.

И, наконец, оговорка четвертая. Сколько бы я ни получал читательских писем за последние двадцать лет со времени начала публикации трилогии «Живые и мертвые» и по сей день от читателей многих моих книг о войне, если не каждое третье, то по крайней мере каждое четвертое письмо так или иначе, в том или ином повороте касалось темы «Сталин и война». На многие письма я отвечал, с одними соглашался, с другими спорил, но так или иначе я двадцать лет имел дело с непрекращающимся потоком информации о том, как самые разные люди – разных общественных положений, поколений, профессий – смотрят на эту тему: Сталин и война. В данном случае поводом для их высказываний были мои книги, но они были только поводом, а не причиной для размышлений. Причиной для размышлений была реальная история нашего общества перед войной, во время войны и после нее. И этот двадцатилетний, непрекращающийся поток информации все на ту же самую тему оказывал и продолжает оказывать влияние на меня, было бы странно, если бы это было иначе – и это найдет свое отражение в рукописи, к которой я приступаю.

## **Перед войной. Отношение к Сталину. Пакт Молотова – Риббентропа**

В конце лета тридцать восьмого года я стал членом Союза писателей. В этом году вышли сразу две, если не три, мои первые книжки, и вообще я почувствовал себя профессиональным литератором. Естественно, что к этому времени я больше знал, чем раньше, о том, что происходило в кругу литераторов, в том числе о событиях драматических.

Самым драматическим для меня лично из этих событий был совершенно неожиданный и как-то не лезший ни в какие ворота арест и исчезновение Михаила Кольцова. Он был арестован в самом конце тридцать восьмого года, когда арестов в писательском кругу уже не происходило, арестован после выступления в большой писательской аудитории, где его восторженно встречали. Прямо оттуда, как я уже потом узнал, он уехал в «Правду», членом редколлегии которой он был, и там его арестовали – чуть ли не в кабинете Мехлиса.

Мы все читали «Испанский дневник» Кольцова. Читали с гораздо большим интересом, чем что бы то ни было, кем бы то ни было написанное об Испании, в том числе даже чем корреспонденция Эренбурга. Об «Испанском дневнике» написали Фадеев и Алексей Толстой. Вторая книга готовилась к публикации в «Новом мире», была уже чуть ли не верстка ее, ее с нетерпением ждали. Кольцов был для нас в какой-то мере символом всего того, что советские люди делали в Испании. О том, что очень многие из наших военных, бывших в Испании, оказались потом арестованными – некоторые вышли на волю, а некоторые погибли, – я узнал значительно позже, а о Кольцове мы узнали тогда сразу же. Слух об этом, о его исчезновении распространился мгновенно. Ни понять этого, ни поверить в это – в то, что он в чем-то виноват, было невозможно или почти невозможно. И в общем, в это не поверили, надо сказать это так же без преувеличений, как я без преуменьшений говорил о других случаях, когда верили, и легко верили.

Очень характерно, что с самого начала Великой Отечественной войны пошли слухи, что то на одном фронте, то на другом фронте, в том числе и на Карельском фронте, видели Кольцова, который освобожден, вернулся из лагерей и находится в действующей армии. Находились свидетели этого, вернее, якобы свидетели, которые кому-то говорили об этом, а кто-то говорил об этом еще кому-то, и эти слухи снова и снова возникали, доходили до нас, до меня, например, на протяжении первых двух лет войны. У этих слухов была своя основа: возвращение в действующую армию ряда военных людей, которые затем отличались на фронте, о них было глухо известно, что они исчезли в предвоенные годы, о возвращении их в армию до войны не знали, а во время войны их имена появились сначала в списках награжденных, позже в приказах. Слухи о появлении на фронте Кольцова отличались особым упорством, связанным с особой симпатией к нему, к его личности, к его роли в испанских событиях, и к его «Испанскому дневнику», и к невозможности поверить в то, что этот человек в чем-то виноват.

В сорок девятом году, когда мы ездили с первой делегацией деятелей советской культуры в Китай, Фадеев – руководителем делегации, а я – его заместителем, как-то поздно вечером в Пекине в гостинице Фадеев в минуту откровенности – а надо сказать, что на такие темы, как эта, он редко говорил, очень редко, со мной, пожалуй, только трижды – он после того, как я, не помню, по какому поводу, заговорил о Кольцове и о том, что так до сих пор и не верится, что с ним могло произойти то, что произошло, сказал мне, что он, Фадеев, тогда же, через неделю или две после ареста Кольцова, написал короткую записку Сталину о том, что многие писатели, коммунисты и беспартийные, не могут поверить в виновность Кольцова и сам он, Фадеев, тоже не может в это поверить, считает нужным сообщить об этом широко

распространенном впечатлении от происшедшего в литературных кругах Сталину и просит принять его.

Через некоторое время Сталин принял Фадеева.

– Значит, вы не верите в то, что Кольцов виноват? – спросил его Сталин.

Фадеев сказал, что ему не верится в это, не хочется в это верить.

– А я, думаете, верил, мне, думаете, хотелось верить? Не хотелось, но пришлось поверить.

После этих слов Сталин вызвал Поскребышева и приказал дать Фадееву почитать то, что для него отложено.

– Пойдите, почитайте, потом зайдете ко мне, скажете о своем впечатлении, – так сказал ему Сталин, так это у меня осталось в памяти из разговора с Фадеевым.

Фадеев пошел вместе с Поскребышевым в другую комнату, сел за стол, перед ним положили две папки показаний Кольцова.

Показания, по словам Фадеева, были ужасные, с признаниями в связи с троцкистами, с поумовцами.

– И вообще чего там только не было написано, – горько махнул рукой Фадеев, видимо, как я понял, не желая касаться каких-то персональных подробностей. – Читал и не верил своим глазам. Когда посмотрел все это, меня еще раз вызвали к Сталину, и он спросил меня:

– Ну как, теперь приходится верить?

– Приходится, – сказал Фадеев.

– Если будут спрашивать люди, которым нужно дать ответ, можете сказать им о том, что вы знаете сами, – заключил Сталин и с этим отпустил Фадеева.

Этот мой разговор с Фадеевым происходил в сорок девятом году, за три с лишним года до смерти Сталина. Разговор свой со Сталиным Фадеев не комментировал, но рассказывал об этом с горечью, которую как хочешь, так и понимай. При одном направлении твоих собственных мыслей это могло ощущаться как горечь оттого, что пришлось удостовериться в виновности такого человека, как Кольцов, а при другом – могло восприняться как горечь от безвыходности тогдашнего положения самого Фадеева, в глубине души все-таки, видимо, не верившего в вину Кольцова и не питавшего доверия или, во всяком случае, полного доверия к тем папкам, которые он прочитал. Что-то в его интонации, когда он говорил слова: «Чего там только не было написано», – толкало именно на эту мысль, что он все-таки где-то в глубине души не верит в вину Кольцова, но сказать это даже через одиннадцать лет не может, во всяком случае, напрямую, потому что Кольцов – это ведь уже не «ежовщина». Ежов уже бесследно убран, это уже не Ежов, а сам Сталин.

Почему я так долго говорю обо всем этом, самом тяжелом, труднообъяснимом и труднопереносимом даже в воспоминаниях, когда обращаюсь к годам своей юности? Ведь было тогда много и всякого другого, совершенно не похожего на все это, далекого от этого. Вот именно! В этом, очевидно, все дело, хотя многие страницы, написанные мною до сих пор, как бы входят в противоречие с началом этой рукописи, заявкой на рассказ или, вернее, на попытку анализа отношения человека, или людей моего поколения, к Сталину, не могу обойтись без этих страниц, ибо отсюда, с этого пункта, и начинаются противоречия внутренней оценки Сталина. Противоречия, где-то заложенные еще тогда, приглушенные, задавленные в себе, в результате где-то трусости, где-то упорного переубеждения самого себя, где-то насилия над собой, где-то желания не касаться того, чего ты не хочешь касаться даже в мыслях. И все же первые корни двойственного отношения к Сталину – там, в тридцатых годах. Осознанные, неосознанные, полусознанные, но все-таки где-то в душе произрастававшие. А в полный рост эти противоречия не пошли, не дали ростков тогда не потому, что, как теперь часто говорят, мы ведь тогда этого не знали, это мы потом, после XX съезда, все узнали. Многое, конечно, узнали только после XX съезда, это верно. Но отнюдь не все. Было и такое, о чем можно было и следовало



думать до XX съезда, и оснований для этого было достаточно. Решимости не хватало куда больше, чем оснований.

Дело не в том, что ровно ничего не знали, а в том дело, что, ощущая и в какой-то мере зная о том, дурном, что делается, и только потом, не полностью и запоздало исправляется, а иногда и не исправляется вообще, гораздо больше знали о хорошем. Я сознательно употребляю эти общие слова – «дурное» и «хорошее», потому что в другие не вместишь то, что под этим подразумевалось в то время.

Что же хорошее было связано для нас, для меня в частности, с именем Сталина в те годы? А очень многое, почти все, хотя бы потому, что к тому времени уже почти все в нашем представлении шло от него и покрывалось его именем. Проводимой им неуклонно генеральной линией на индустриализацию страны объяснялось все, что происходило в этой сфере. А происходило, конечно, много удивительных вещей. Страна менялась на глазах. Когда что-то не выходило – значит, этому кто-то мешал. Сначала мешали вредители, промпартия, потом, как выяснилось на процессах, мешали левые и правые оппозиционеры. Но, считая все с пути индустриализации, Сталин проводил ее железной рукой. Он мало говорил, много делал, много встречался по делам с людьми, редко давал интервью, редко выступал и достиг того, что каждое его слово взвешивалось и ценилось не только у нас, но и во всем мире. Говорил он ясно, просто, последовательно: мысли, которые хотел вдолбить в головы, вдальбивал прочно и, в нашем представлении, никогда не обещал того, что не делал впоследствии.

Мы были предвоенным поколением, мы знали, что нам предстоит война. Сначала она рисовалась как война вообще с капиталистическим миром – в какой форме, в форме какой коалиции, трудно было предсказать; нам угрожали даже непосредственные соседи – Польша, Румыния, Малая Антанта – это было до прихода Гитлера к власти, а на Дальнем Востоке – Япония. Мы знали, что находимся в капиталистическом окружении, так и было на самом деле, а постепенно, с оккупацией Японией Маньчжурии, с приходом к власти Гитлера, с созданием антикоминтерновского пакта, оси будущее проявилось еще более отчетливо. Очевидно, придется воевать с Японией и Германией, может быть, присоединившейся к ним Италией. Враждебной нам оставалась и Польша, хотя было непонятно, как она может оказаться на стороне Германии, и тем не менее, она осталась враждебной нам вопреки логике.

На КВЖД твердой рукой был дан отпор китайским милитаристам. Мы этому сочувствовали еще мальчишками. На Хасане произошло столкновение с японцами, в котором мы не отступили. Тогда ходили слухи, что там поначалу все было не так хорошо, как об этом писали, но тем не менее мы там не отступили. Потом был Халхин-Гол, где уже мне довелось быть самому и многое видеть своими глазами. Некоторые разочарования были, что-то не совпадало с тем, чего я ожидал, в частности, японцы сначала били нас в воздухе, пока не появились наши новые самолеты, а главное, наши летчики с опытом боев в Испании, в Китае; поначалу не очень удачно действовала пехота, были случаи паники – этого я не застал, но об этом слышал. Однако танки наши там, на Халхин-Голе, оказались на высоте, в итоге на высоте оказалась и авиация, и, хотя осталось внутреннее ощущение, что наша пехота воевала там не лучше японской, в общем, в масштабах всего халхин-гольского конфликта японцы были разбиты наголову. Это было неопровержимым фактом, а за этим стояло многое из того, что делал Сталин для армии. То, что он занимался армией, вооружением ее, снабжением, отдавал ей много времени и сил, придавал ей должное значение, готовил страну к борьбе, вооруженной борьбе в трудных условиях, было для нас несомненно. Поэтому в итоге, несмотря на некоторые неприятные для нашего сознания неожиданности, мы высоко ценили его деятельность в этом направлении.

Вдобавок мы в Монголии выполнили свой интернациональный долг: договор, подписанный нами с монголами, был выполнен, мы обещали им помочь и помогли полной мерой. Это вызывало чувство удовлетворения. По нашим тогдашним представлениям, Сталин как руководитель нашей страны, ее вождь, сделал все, что мог, все, что было практически возможно.

Мы были убеждены, что если бы не комитет по невмешательству, если бы не блокада Испании, потворство вмешательству в ее дела немецких и итальянских военных контингентов, широкий ввоз из Германии и Италии артиллерии, танков, авиации, республика справилась бы с фашизмом. Мы, со своей стороны, были людьми с чистой совестью, мы сделали все, что могли. А персонифицируя все это, мы жили с ощущением, что Сталин сделал все, что мог, для спасения Испанской республики, для эвакуации испанских детей и сирот – в общем, с его именем было связано представление о неукоснительном исполнении нашего интернационального долга.

К этому кругу «хорошего», связанного в нашей жизни с тогдашними представлениями о Сталине, относилась еще и Арктика – спасение экипажа «Челюскина», высадка на Северном полюсе Папанина с товарищами, перелеты Чкалова и Громова. За организацией всего этого, за всеми этими смелыми предприятиями в нашем ощущении стоял Сталин, к нему приезжали, ему докладывали об этом. А связанные с этим торжества приобретали характер всенародный, и это сближало всех нас, за редким исключением, с в общем-то далекой, отъединенной фигурой Сталина. Мы не представляли себе возможности, самой возможности обвинений, выдвинутых впоследствии против Сталина в связи со смертью Кирова. Я их потом вместе со многими другими людьми слышал своими ушами с трибуны как подозрения почти несомненные, хотя впоследствии несомненность их, насколько я знаю, никому доказать так и не удалось. Этого всего мы себе не представляли даже как возможность. Но как Сталин шел за гробом Кирова – знали. Мы не знали того, что в действительности произошло в семье Сталина, не знали трагического поворота отношений его с женой, до нас не доходили слухи о нем как о виновнике ее смерти, но мы знали, что он шел за ее гробом, и сочувствовали его потере.

В своих выступлениях Сталин был безапелляционен, но прост. С людьми – это мы иногда видели в кинохронике – держался просто. Одевался просто, одинаково. В нем не чувствовалось ничего показного, никаких внешних претензий на величие или избранность. И это соответствовало нашим представлениям о том, каким должен быть человек, стоящий во главе партии. В итоге Сталин был все это вкуче: все эти ощущения, все эти реальные и дорисованные нами положительные черты руководителя партии и государства.

Очень было трудно при этом удержаться от соблазна перевалить на кого-то другого ответственность за плохое. В этом смысле Сталин был особенно последователен. Перегибы с массовой коллективизацией повлекли за собой статью «Головокружение от успехов», а «Головокружение от успехов» не только расширяло число виноватых, не только переводило все случившееся на совершенно иной уровень причинности, чем это можно было себе представить по масштабам случившегося, но и подталкивало людей вроде меня, далеких от понимания всех происходивших в деревне процессов, всей их сложности, к однозначному и полезному для авторитета Сталина решению: именно на том уровне, о котором он писал, и происходили эти ошибки. И если бы он не остановил, не спас от дальнейших ошибок, то они нарастали бы. Он выступал для нас в роли спасителя от ошибок, так же, как впоследствии он выступал в этой же роли, когда Ежова сменил Берия. Ежов исчез, а Сталин, как об этом доходили слухи до таких людей, как я, слухи отдаленные, неясные, где-то, кажется, на пленуме ЦК, очень жестко критиковал людей, которые были виноваты в перегибах, для обозначения которых так кстати появилось это слово «ежовщина». До такой степени кстати, что пустить его в оборот впору бы самому Сталину. Хотя, конечно, это было не так, и скорей всего это обозначение тех двух или трех лет, которые сами по себе составили короткую, но страшную эпоху, родилось сразу у многих людей и распространилось, как огонь по сухой траве, благодаря своей безотказной точности и простоте, соответствующей предыдущему, бывшему в ходу словесному обозначению, связанному с Ежовым, – «ежовые рукавицы». Об этих рукавицах писали, их рисовали, и довольно часто.

Сейчас мне думается, когда я вспоминаю то время, что раздувание популярности Ежова, его «ежовых рукавиц», его «железного» наркомства, наверное, несколько не придерживалось,

наоборот, скорее, поощрялось Сталиным в предвидении будущего, ибо, конечно, он знал, что должен когда-то наступить конец тому процессу чистки, которая ему, как политику и человеку беспощадно жестокому, казалась, очевидно, неизбежной; раз так, то для этого последующего периода наготове имелся и вполне естественный первый ответчик.

Но все это я думаю сейчас. Тогда не думал, даже не представлял себе, что когда-нибудь смогу это думать.

Пакт с немцами, приезд Риббентропа в Москву и все с этим связанное поначалу не внесли сколько-нибудь заметной трещины в мое представление о Сталине, хотя само это событие психологически, особенно после всего, что произошло в Испании, после открытой схватки с фашизмом, которая была там, потрянуло меня так же, как и моих сверстников, – многих, наверное, довольно сильно. Что-то тут невозможно было понять чувствами. Может быть, умом – да, а чувствами – нет. Что-то перевернулось и в окружающем нас мире, и в нас самих. Вроде бы мы стали кем-то не тем, чем были; вроде бы нам надо было продолжать жить с другим самоощущением после этого пакта.

Это первое ощущение и самоощущение, наверное, было бы для меня более резким, если бы в дни, когда все это происходило, я не оказался на Халхин-Голе в разгар нашего наступления и окружения японских войск. И дело не только в том, что душевные силы, интересы поглощало происходившее непосредственно там – это ведь было для меня как для начинающего военного корреспондента боевое крещение, связанное и с многократным видом смерти, достаточно ужасными картинами ее, и с моментами личной опасности. Но, кроме всего этого, было еще такое чувство – я потом о нем писал, стараясь точно выразить его, здесь хочу это повторить, – что вместе с этим пактом там, где-то далеко, отодвинулась опасность удара в спину. Обычное ощущение при жизни в Москве в эти годы, когда все нарастало ощущение предстоящей войны с фашистской Германией – мы как бы находились лицом к ней, она была перед нами, а Япония, маньчжурская граница, на которой беспрерывно происходили конфликты, Монголия, в которую японцы вторгались, вторглись в тридцать девятом году вовсе не в первый раз – до этого было несколько предыдущих проб, – все это там, за спиной. Нож в спину был там, угроза такого удара исходила от японцев. Когда мы были там, на Халхин-Голе, когда там шла война, эта возможность удара в спину ножом связывалась с Германией, этот удар ожидался с запада, уже это было у нас за спиной. И вот вдруг наступила странная, неожиданная, оглушающая своею новизной эра предстоящего относительного спокойствия: был заключен пакт о ненападении – с кем? – с фашистской Германией.

Когда началась война немцев с Польшей, все мое сочувствие, так же, как и сочувствие моих товарищей по редакции военной газеты, где мы вместе работали, было на стороне поляков, потому что сильнейший напал на слабейшего и потому что пакт о ненападении пактом, а кто же из нас хотел победы фашистской Германии в начавшейся европейской войне, тем более легкой победы? Быстрота, с которой немцы ворвались и шли по Польше, огорошивала и тревожила.

Семнадцатого сентября тридцать девятого года заявление о вступлении наших войск в Западную Украину и Белоруссию в связи с развалом Польши как государства застало меня тоже еще на Халхин-Голе. За сутки до этого было, по-моему, самое крупное воздушное сражение над монгольской степью. В воздухе было несколько сотен самолетов. Впоследствии, в пятидесятом году, при встречах с Георгием Константиновичем Жуковым я, сам немножко стесняясь тогда того, что сейчас скажу, все-таки сказал ему правду, что после этих воздушных боев над Халхин-Голом я ни разу не видел в годы Великой Отечественной войны, чтоб в воздушном бою у меня над головой участвовало столько самолетов. А он усмехнулся и неожиданно для меня ответил: «А ты думаешь, я видел? И я не видел».

Я вспомнил об этом к тому, что, хотя мы окружили, разбили, в общем, разгромили, это не будет преувеличением сказать, японцев на монгольской территории, но что будет дальше и

начнется ли большая война с Японией, было неизвестно, как мне тогда казалось, можно было ждать и этого. А то, что там, в Европе, наши войска вступают в Западную Украину и Белоруссию, мною, например, было встречено с чувством безоговорочной радости. Надо представить себе атмосферу всех предыдущих лет, советско-польскую войну 1920 года, последующие десятилетия напряженных отношений с Польшей, осадничество, переселение польского кулачества в так называемые восточные коресы, попытки колонизации украинского и в особенности белорусского населения, белогвардейские банды, действовавшие с территории Польши в двадцатые годы, изучение польского языка среди военных как языка одного из наиболее возможных противников, процессы белорусских коммунистов. В общем, если вспомнить всю эту атмосферу, то почему же мне было тогда не радоваться тому, что мы идем освобождать Западную Украину и Западную Белоруссию? Идем к той линии национального размежевания, которую когда-то, в двадцатом году, считал справедливой, с точки зрения этнической, даже такой недруг нашей страны, как лорд Керзон, и о которой вспоминали как о линии Керзона, но от которой нам пришлось отступить тогда и пойти на мир, отдававший Польше в руки Западную Украину и Белоруссию, из-за военных поражений, за которыми стояли безграничное истощение сил в годы мировой Гражданской войны, разруха, неприконтинентальный Врангель, предстоящие Кронштадт и антоновщина, – в общем, двадцатый год. То, что происходило, казалось мне справедливым, и я этому сочувствовал. Сочувствовал, находясь еще на Халхин-Голе и попав неделей позже, обмундированный по-прежнему в военную форму, с Халхин-Гола в уже освобожденную Западную Белоруссию. Я ездил по ней накануне выборов в народное собрание, видел своими глазами народ, действительно освобожденный от ненавистного ему владычества, слышал разговоры, присутствовал в первый день на заседании народного собрания. Я был молод и неопытен, но все-таки в том, как и чему хлопают люди в зале, и почему они встают, и какие у них при этом лица, кажется мне, разбирался и тогда. Для меня не было вопроса: в Западной Белоруссии, где я оказался, белорусское население – а его было огромное большинство – было радо нашему приходу, хотело его. И, разумеется, из головы не выходила еще и мысль, не чуждая тогда многим: ну а если бы мы не сделали своего заявления, не договорились о демаркационной линии с немцами, не дошли бы до нее, если бы не было всего этого, очевидно, связанного так или иначе – о чем приходилось догадываться – с договором о ненападении, то кто бы вступал в эти города и села, кто бы занял всю эту Западную Белоруссию, кто бы подошел на шестьдесят километров к Минску, почти к самому Минску? Немцы. Нет, тогда никаких вопросов такого свойства для меня не было, в моих глазах Сталин был прав, что сделал это. А то, что практически ни Англия, ни Франция, объявив войну немцам, так и не пришли полякам на помощь, подтверждало для меня то, что писалось о бесплодности и неискренности с их стороны тех военных переговоров о договоре, который мог бы удержать Германию от войны.

Вдобавок было на очень свежей памяти все давнее: и Мюнхен, и наша готовность вместе с Францией, если она тоже это сделает, оказать помощь Чехословакии, и оккупация немцами Чехословакии, – все это было на памяти и все это подтверждало, что Сталин прав. Хотя все вроде было так, а все-таки что-то было и не так, какой-то червяк грыз и сосал душу. За этим стояло не до конца осознанное ощущение – очевидно, так, именно ощущение, а не концепция, – что мы из-за договора о ненападении в чем-то из кого-то одного стали кем-то другим. С точки зрения государства, самоощущения себя как человека этого государства, все вроде было правильно. С точки зрения самоощущения себя как человека той страны, которая была надеждой всего мира, вернее, не всего мира, а всех наших единомышленников в мире, главной надеждой в борьбе с мировым фашизмом – мы говорили тогда о мировом фашизме, он был для нас не только немецким, – было что-то не то. В этом прежнем самоощущении было что-то утрачено. Я это чувствовал и знал, что это чувствуют другие.

Возвращаясь в мыслях к тому времени, к тогдашним психологическим ощущениям человека, в общем, сознательно поддерживавшего Сталина, а в то же время бессознательно что-

то не принимавшего во всем этом, – думаю сейчас о самом Сталине. Как быть в этих обстоятельствах, когда, с одной стороны, Франция и Англия не хотели заключать к чему-то обязывающего не только нас, но и их серьезного военного договора, а с другой стороны, фашистская Германия предлагала пакт о ненападении и готова была при этом в случае войны с Польшей не переступить линии Керзона, не доходить до наших границ, а, наоборот, дать нам дойти до этой линии, некогда предполагавшейся как справедливая граница между нами и Польшей?

Сталин решал, как быть. Решал сам. Он мог советоваться, спрашивать мнения, запрашивать данные – не знаю этих обстоятельств и не вхожу в них, – знаю одно: он к этому времени обеспечил себе такое положение в партии и в государстве, что если он твердо решал нечто, то на прямое сопротивление ему рассчитывать не приходилось, отстаивать свою правоту ему было не перед кем, он заведомо был прав, раз он принимал решение. Так вот, я задаюсь теперь вопросом – психологическим, – было ли у него внутреннее противодействие этому решению, было ли у него, хотя бы частично, ощущение того, что где-то в глубине души чувствовали мы: с этим решением мы становимся в чем-то другими, чем были?

Когда я задумываюсь над этим сейчас, мне начинает казаться, что такого рода ощущения у него могли быть. У меня нет никаких сомнений в том, что конечный этап отношений с гитлеровской Германией он представлял себе как схватку не на жизнь, а на смерть, схватку, которая должна была принести нам победу. И в чем-то он смотрел на пакт о ненападении так же, как и наши, как их тогда между собой называли мы – «заклятые друзья» – немецкие фашисты: это был шаг по пути к той будущей схватке, в которой не будет среднего выхода, будет или – или, в которой мы обязаны победить.

Мне почему-то кажется, что он мог вспоминать период борьбы за заключение Брестского мира, период, в который Ленин должен был вести жесточайшую борьбу внутри партии для того, чтобы доказать свою правоту и заключить этот мир. Сталин в этом не нуждался, он успел поставить себя в такое положение, когда собирать голоса в поддержку своего решения ему не приходилось, – в этом была разница. Но может быть, от этого и чувство собственной ответственности было еще тяжелее. Решения, принимаемые при общем молчании или при равнозначном этому общему молчанию механическом одобрении, куда тяжелее, чем могут показаться с первого взгляда. В конце концов, если вдуматься, окончательные решения, принимаемые одним за всех, – самое трудное и самое страшное. Военные это знают лучше всего. Правда, у них это бывает вызвано прямой и объективной необходимостью самих условий войны. Сталин создал для себя подобную необходимость сам, шел к ней долгим и кровавым путем. И все же, говоря все это, я думаю: а не ставил ли он себя тогда, перед заключением пакта, мысленно на место Ленина в период Брестского мира? Своих умозрительных предполагаемых оппонентов – на место Бухарина и левых коммунистов или на место Троцкого? Не поддерживал ли он своей решимости мыслью, что этот похабный пакт – он вполне мог мысленно так называть его, особенно если вспоминал Ленина при этом, – ничем не хуже похабного Брестского мира, – что этот похабный пакт в сложившейся международной обстановке не менее необходим, чем похабный Брестский мир, хотя связан с идеологическими утратами, но утраты эти потом, когда в конце концов все кончится победой над фашизмом, нашей победой, а не чьей-либо еще, – эти утраты окажутся обратимыми, а сейчас этот пакт даст ту передышку, которая необходима для решения будущих задач. Наивно, конечно, пробовать думать за такого человека, как Сталин, представлять себе ход его мыслей – эти домыслы, разумеется, ни на чем ином, кроме интуитивной уверенности, не основаны, и все же не могу отказать от мысли, что в них есть своя логика.

## **Война. Причины неудач в первый период. Сталин как полководец. Жуков о Сталине**

Прежде чем говорить о войне, хочу подробнее остановиться на трудной теме 1937–1938 годов. В данном случае я говорю о 1937–1938 годах лишь с точки зрения их прямого влияния на нашу неготовность к войне. К сожалению, люди, от всей души клеймящие позорные события тех лет, порой узко и односторонне трактуют влияние этих событий на дальнейшие судьбы армии. Прочтешь статью, где, в очередной раз перечислив несколько имен погибших в 1937 году военачальников, автор намекает, что, будь они живы, на войне все пошло бы по-другому, и думаешь: неужели автор и в самом деле все сводит лишь к этому?

Однажды, прочитав такие рассуждения, я даже попробовал мысленно представить: предположим, в 1937 году не было бы всего остального, а был бы просто один трагический случай – авария летевшего на маневры самолета, на борту которого находились Тухачевский, Уборевич, Корк и другие жертвы будущего фальсифицированного процесса. Была бы эта трагедия трагической? Конечно. Нанесла бы она ущерб строительству армии? Разумеется. Привела бы она через четыре года – в 1941 году – к далеко идущим последствиям?

Спросил и мысленно ответил себе: нет, не привела бы. Потому что потеря такого рода при всем ее трагизме заставила бы нас по нашей революционной традиции только теснее сплотить ряды, выдвинула бы новых способных людей, выпестованных партией и Красной армией.

Мне хочется поспорить с нет-нет да и проскальзывающей тенденцией противопоставления кадров, погибших в 1937–1938 годах, кадрам, которым хочешь не хочешь пришлось принять на свои плечи войну.

Некоторым, видимо, кажется, что они отдают должное личности Тухачевского или Якира, намекая, что командуй они в первый день войны фронтами вместо Кирпоноса или Павлова, все пошло бы по-другому. Такие внешне эффектные противопоставления мне лично кажутся не только легковесными, но и морально безответственными.

Да, по образному выражению одного из наших крупных военных, «война отбирала кадры». Не на месте оказались некоторые видные военачальники, жившие заслугами прошлого и отставшие от времени. Не на месте оказались и некоторые слишком поспешно выдвинутые перед войной молодые командиры.

Но война отбирала и отобрала кадры. И людям, во главе дивизий, армий и фронтов отступавшим до Москвы, до Ленинграда, до Сталинграда, но не отдавшим ни того, ни другого, ни третьего, а потом перешедшим в наступление, научившимся воевать и в конце концов разгромившим сильнейшую армию мира – германскую армию – и дошедшим до Берлина, – им, этим людям, не надо противопоставлять ни Тухачевского, ни Якира при всем глубоком уважении к их именам.

Когда мы говорим о просчетах Гитлера и германского генерального штаба, следует помнить, что один из их главных просчетов был просчет в оценке кадров. В 1937–1938 годах эти кадры действительно понесли страшный урон. Но Гитлер и германский генеральный штаб считали этот урон невосполнимым, а нашу армию в условиях большой войны – небоеспособной.

Однако те кадры, которые сохранились в нашей армии, пережив тяжелейшие моральные испытания 1937–1938 годов и еще не оправившись от них в начале войны, показали и свое искусство, и свою способность к росту и совершенствованию. Показали, что они люди той же советской военной школы, из которой вышли такие люди, как Тухачевский, Уборевич, Якир, и в конце концов сделали то, чего не ожидали от них ни наши враги, ни наши союзники, – вышли из этой страшной войны победителями.

В ходе войны, среди ее испытаний проходили жестокую проверку многие довоенные представления, лозунги, концепции. Война одно подтверждала, другое отвергала, третье, в свое время отвергнутое, восстанавливала в его прежнем значении.

Хочу привести пример операции, в которой наглядно столкнулись истинные интересы ведения войны и ложные, лозунговые представления о том, как должно вести войну, опиравшиеся не только на военную безграмотность, но и на порожденное 1937 годом неверие в людей. Я говорю о печальной памяти Керченских событиях зимы – весны 1942 года.

Семь лет назад один из наших писателей-фронтовиков писал мне следующее:

«Я был на Керченском полуострове в 1942 году. Мне ясна причина позорнейшего поражения. Полное недоверие командующим армиями и фронтом, самодурство и дикий произвол Мехлиса, человека неграмотного в военном деле... Запретил рыть окопы, чтобы не подрывать наступательного духа солдат. Выдвинул тяжелую артиллерию и штабы армии на самую передовую и т. д. Три армии стояли на фронте 16 километров, дивизия занимала по фронту 600–700 метров, нигде никогда я потом не видел такой насыщенности войсками. И все это смешалось в кровавую кашу, было сброшено в море, погибло только потому, что фронтом командовал не полководец, а безумец...»

Я был там же, где автор этого письма, и, хотя не разделяю его лексику, подписываюсь под существом сказанного.

Заговорил я об этом отнюдь не затем, чтобы лишний раз недобрым словом помянуть Мехлиса, который, кстати, был человеком безукоризненного личного мужества и все, что делал, делал не из намерения лично прославиться. Он был глубоко убежден, что действует правильно, и именно поэтому с исторической точки зрения действия его на Керченском полуострове принципиально интересны. Это был человек, который в тот период войны, не входя ни в какие обстоятельства, считал каждого, кто предпочел удобную позицию в ста метрах от врага неудобной в пятидесяти, – трусом. Считал каждого, кто хотел элементарно обезопасить войска от возможной неудачи, – паникером; считал каждого, кто реально оценивал силы врага, – неуверенным в собственных силах. Мехлис, при всей своей личной готовности отдать жизнь за Родину, был ярко выраженным продуктом атмосферы 1937–1938 годов.

А командующий фронтом, к которому он приехал в качестве представителя Ставки, образованный и опытный военный, в свою очередь тоже оказался продуктом атмосферы 1937–1938 годов, только в другом смысле – в смысле боязни взять на себя полноту ответственности, боязни противопоставить разумное военное решение безграмотному натиску «все и вся – вперед», боязни с риском для себя перенести свой спор с Мехлисом в Ставку.

Тяжелые керченские события с исторической точки зрения интересны тем, что в них как бы свинчены вместе обе половинки последствий 1937–1938 годов, – и та, что была представлена Мехлисом, и та, что была представлена тогдашним командующим Крымским фронтом Козловым.

Кстати сказать, мысленно восстанавливая всю эту драматическую керченскую ситуацию, можно не кривя душой назвать имена целого ряда других, уже выдвигавшихся к тому времени в ходе войны людей, которые, оказавшись в положении командующего фронтом, несмотря ни на близость Мехлиса к Сталину, ни на его положение представителя Ставки, думается, уже тогда не дали бы ему подмять себя, спорили бы до конца, дошли до Сталина и, возможно, убедили бы его в своей правоте.

И этих других людей нельзя выпускать из виду, исторически осмысливая те перемены к лучшему, которые постепенно совершались в армии в ходе войны с ее первыми поражениями, с ее сложным и длительным переломным периодом, с ее все нараставшими и нараставшими по своим масштабам победами.

...Во многих воспоминаниях о первом периоде войны я читал о заявлении ТАСС от 14 июня 1941 года и о том дезориентирующем влиянии, которое оно имело.

Так оно и вышло на деле. Хотя сейчас, перечитывая это заявление ТАСС, я думаю, что его можно рассматривать как документ, который при других сопутствующих обстоятельствах мог бы не только успокоить, но и насторожить.

Думается, что Сталин хотел этим документом, во-первых, еще раз подчеркнуть, что мы не хотим войны с Германией и не собираемся вступать в нее по своей инициативе, во-вторых, что мы хорошо осведомлены о концентрации германских войск у наших границ и, очевидно, принимаем в связи с этим свои меры, а, в-третьих, мне лично кажется несомненным, что это официальное заявление государственного телеграфного агентства имело целью попробовать вынудить Гитлера в той или иной форме подтвердить свои предыдущие заявления о миролюбивых намерениях по отношению к нам и этим в какой-то мере дополнительно связать себя.

Мне кажется, что разоружающее значение этого заявления ТАСС состояло не в самом факте его публикации, а в другом: если с дипломатической точки зрения появление такого документа считалось необходимым, то внутри страны ему должны были сопутствовать меры, совершенно обратные тем, которые последовали. Если бы одновременно с появлением этого документа войска пограничных округов были приведены в боевую готовность, то он, даже без особых дополнительных разъяснений, был бы воспринят в армии как документ дипломатический, а не руководящий, как адресованный вовне, а не вовнутрь.

Но этих мер не последовало. Напротив, буквально все попытки на местах, в пограничных округах усилить боевую готовность войск наталкивались на жестокое сопротивление сверху, за которым, несомненно, стояла твердая воля Сталина.

Не только тяжело, а душевно непереносимо читать сейчас главы мемуаров, посвященных этому периоду. Соответствующие цитаты заняли бы десятки страниц. Сошлюсь лишь на нескольких лиц, занимавших перед войной самые разные должности – от начальника ПВО страны и до командиров дивизий. Упоминания о строгом запрете сверху принимать в пограничных округах срочные меры к приведению войск в боевую готовность проходят через мемуары Воронова, Баграмяна, Сандалова, Бирюзова, Лобачева, Болдина, Кузнецова, Попеля и многих других участников войны.

И, конечно, уж вовсе трагическое впечатление производит висящая на стене в музее Брестской крепости красноармейская газета 4-й армии «Часовой Родины» вышедшая утром 22 июня 1941 года с передовой «Летнему спорту – широкий размах».

В таких условиях заявление ТАСС, разумеется, могло иметь и имело только одно – разоружающее значение.

Надо попробовать представить себе психологическое состояние людей, которые знают об угрожающем сосредоточении германских войск у наших границ, ежедневно получают донесения на этот счет, сами доносят об этом своим старшим начальникам и в Москву, предлагают принять соответствующие меры, но ответом на все это оказывается или молчание, или прямые окрики: «Не смей!»

Мне вовсе не кажется удивительным, что сочетание этой реальности, этой очевидности угрозы, которую чувствовали люди, находившиеся в пограничных округах, с твердостью отпора сверху, из Москвы, по отношению ко всем предложениям о приведении войск в боевую готовность у многих рождало ощущение, что, должно быть, есть какая-то иная очевидность, иная реальность, о которой хорошо осведомлен такой высший и непогрешимый авторитет, каким был тогда для нас Сталин.

Думаю, что именно это и могло рождать такие ответы, как ответ командующего войсками Западного особого округа Павлова своему встревоженному заместителю Болдину: «Иван Васильевич, пойми меня: в Москве лучше нас с тобой знают военно-политическую обстановку и наши отношения с Германией».

То, что, несмотря на явные признаки готовящегося нападения, Сталин, очевидно, до самого последнего момента еще верил, что ему удастся оттянуть начало войны, уже доказано



нашими историками на основании анализа огромного количества неопровержимых фактов. В своем коллективном труде «Великая Отечественная война» они пришли к выводам, что неподготовленность пограничных военных округов к отпору врагу явилась прежде всего следствием ошибочных представлений Сталина о перспективах войны с фашистской Германией в ближайшее время и переоценки им значения советско-германского договора.

Я полностью разделяю эти выводы, но меня как писателя дополнительно интересует еще одно: за суховато-точной формулировкой историков о неподготовленности пограничных военных округов к этой, при всех обстоятельствах неизбежной войне стоит множество лишних жертв, понесенных нами на войне вследствие этих ошибочных представлений Сталина, не говоря уже об оккупации и опустошении немцами огромной территории, на которой потом все своим горбом заново отстраивал народ. Спрашивается, в силу чего психологически сложились у Сталина эти так дорого нам стоившие «ошибочные представления»?

Мне кажется, что во время и особенно после финской войны Сталин субъективно стремился сделать все, что от него зависело, чтобы страна вступила в войну с фашистской Германией как можно позже. Есть основания считать, что, по его представлениям, мы были бы готовы встретить войну во всеоружии к 1942–1943 годам. Судя по многим высказываниям наших компетентных в этом вопросе военных деятелей, эти предположения были бы близки к действительности с точки зрения реорганизации и перевооружения армии и освоения новой техники. Другой вопрос, что нам и к этому времени не удалось бы восполнить огромные потери в командных кадрах, которые мы понесли в тридцать седьмом – тридцать восьмом годах, а большой боевой опыт германской армии, даже если бы война началась на год или два позже, в первый период все равно оставался бы фактором, усиливавшим нашего противника.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.